

ЛОКАРМЕН

РАСКРЫЗЪ

Лазарь Кармен

В «сахарном» вагоне (Дети-глухари #4)

В Одессе нет улицы Лазаря Кармена, популярного когда-то писателя, любимца одесских улиц, любимца местных «портосов»: портовых рабочих, бродяг, забияк. «Кармена прекрасно знала одесская улица», – пишет в воспоминаниях об «Одесских новостях» В. Львов-Рогачевский, – «некоторые номера газет с его фельетонами об одесских каменоломнях, о жизни портовых рабочих, о бывших людях, опустившихся на дно, читались нарасхват... Его все знали в Одессе, знали и любили». И... забыли?..

Он остался героем чужих мемуаров (своих написать не успел), остался частью своего времени, ставшего историческим прошлым, и там, в прошлом времени, остались его рассказы и их персонажи. Творчество Кармена персонажами переполнено. Он преисполнен такой любви к человекам, грубым и смешным, измороженным и мечтательно изнеженным, что старается перезнакомить читателей со всем остальным человечеством.

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0014
III.....	.0019
IV.....	.0021

**Лазарь Кармен
В «сахарном» вагоне
(Из жизни детей Одесского
порта)**

ПОСВЯЩАЕТСЯ В. ГАРШИНУ

Шкентеля – отставного бомбардира – не пустили в приют, вдобавок избили его, и он стоял перед этим самым приютом в час ночи на площади возле обжорки.

Вид у него был ужасный.

Форменная фуражка с пунцовым околышем съехала у него на затылок, вспухшее лицо багровело, рот, не досчитывающий двух зубов, только что выбитых, изрыгал сквернословия, и Шкентель был похож на дикого разъяренного кабана, выгнанного из чащи.

– Гррабители, – гремел сильным басом бомбардир на всю площадь, – идолы, боженята пересыпские! Чтоб вам ни дна ни крышишки, телеграфный столб вам в рот с паклей. Небось дрыхнете, потягиваетесь, тепло вам! А мы, как собаки, мерзнем на площади. Не могли, дьяволы, четырех копеек позычить. Что стоило вам?! Сами ведь знаете: порт замерз; безработица и на декохте сидим. Где взять на хату?! Не пойду же я стрелять, потому что не стрелок я гнусный, а человек порядочный, привилегированный. Бомбардир я, кавалер, в

кампании участвовал и отечеству служил. А вы что?! Пррастрелять вас, да жаль пороху. Тьфу! Тьфу! – И Шкентель в озлоблении несколько раз плюнул в черные, массивные и наглухо закрытые двери.

Двери, как и надо было ожидать, не оскорбились и только насмешливее, как показалось бомбардиру, поглядели на него своими грязными филенками.

Бомбардира взорвало.

– Отворите! – разразился он сильнее и стал колотить, как бешеный, головой, руками и ногами о двери. – Прразнесу, подожгу!

За дверьми черствый сторож все слышал, но не тронулся с места.

– А ты бы открыл двери да пустил его. Он замерзнет на площади, – стал его просить лежавший в прихожей угольщик.

– Ладно, много вас тут, дикарей, наберется. И так наперло нынче в приют девятьсот человек с лишним. Спи, не рассказывай!

Сторож прикрутил лампу, лег на нары, зевнул и стал шептать вечернюю молитву.

Колотил-колотил Шкентель в двери и плюнул. Устал.

Будь Шкентель один, он, быть может, так не раздражался бы, но с ним был Витька, его маленький и добрый дружок Витька!

– Ну и погода, ну и ноченька, – стал теперь тоскливо причитать Шкентель. – Ишь, норд-ост, чтоб ему тошно было. Как свищет, как шипит, как змей-горыныч! А за брекватером, должно быть, жутко, ох, жутко. И маяка совсем не видать-то. Витька, дите, друг мой! Мерзнешь?! Го-ол, как сокол. Нет у тебя ни сапожков, ни сорочки, ни шапки, ни косынки на шее. Только и есть на тебе одна блуза, да и то без пуговиц, и штанишки порванные. Этак, Витька, схватить тиф, что плюнуть. И куда мы с тобой в эту ночь, несчастные, денемся? Где спать будем? А, Витька?! – И Шкентель положил свою черную, шершавую лапу на плечо тершегося у его ног оборвыша.

Витька, чрезвычайно похожий на елочную и надломленную на середине свечу, тоненький, маленький, вскинул карие глазки и просююкал сквозь зубы:

– А может быть, дядя Шкентель, в клепках?

– Сморчок! – обрезал Шкентель и легонько выдрал его за ухо. – Что выдумал?! В клепках,

неразумный ты, можно спать только летом. Тогда тепло, светит луна и в клепках лежать – одно удовольствие. Как на даче лежишь. А зимой надо искать места потеплее, потому что ляжешь и не встанешь больше. Замерзнешь. А если хочется человеку жить и есть у него желание выбраться когда-нибудь из проклятого порта, то следует выдумать что-нибудь поумнее. Слышь, Витька, думай!

Витька заморгал глазенками, потянул носом, забарабанил сильнее зубами и нагнул голову.

– А может быть, дядя Шкентель, в черном ящике? – опять надумал он.

– Гм-м! Ты хочешь сказать: в сорном ящике. Ты говоришь дело. Там и тепло и мягко, не дует. Но там спать нам не пристало. Я отставной бомбардир, кавалер, в кампании участвовал, человек грамотный и притом корзинщик, понимаешь? А ты хотя и сморчок, но все же чистильщик котла, что-то вроде Володи, вроде механика, кочегара или трубочиста. Оба, выходит, мы люди благородной профессии. В сорном ящике спят только дикари, потому что народ они – самый безвыходный. Им

что на койке, что в навозе – все единственно. А мы вот лучше с тобой в «сахарном» вагоне [1] выспимся. Там и соломки и рогожу достать можно. Я тебе постелю постельку. – Шкентель расчувствовался. – Ты ведь один как перст. Нет у тебя, Витька, ни отца, ни матери. Бросили тебя, как щенка паршивого, на набережную. А кто бросил – допытывайся. Ну, да это ничего. Я тебя в вагон уложу – ты и заснешь с богом. А завтра мы раздобудем денег и сходим с тобою в чайную, в трезвость. [2] Я тебя напою чаем и накормлю пилавом. Куплю тебе пальтишко, шапку, теплушки, а пока – малый ход, отдай якорь!

Шкентель подхватил за руку Витьку, и оба засеменяли босыми ногами по безлюдной, мертвой, занесенной снегом площади.

Погода была отвратительная.

С моря дул резкий, пронзительный ветер. Он рвал с убогих пивных и таверн вывески, терзал крыши и с грохотом валил целые сооружения из полосового железа, шпал, клепок, черепицы.

Во влажном и холодном воздухе низко-низко висел туман, клубились испарения,

сверкал снег, и площадь, казалось, слилась с набережной и со сжатым в ледяные тиски морем в одну массу, в один безбрежный океан снега, по которому светлыми точками маячили пароходные огни.

Шкентель и Витька семенили наугад, ощупью.

Они поминутно натыкались на столб, на пакгауз, спотыкались о тюки, клепки, проваливались в рыхлом снегу по пояс и выбрались наконец на набережную.

Пока оба находились на площади, они могли считать себя находящимися в хорошо защищенной и закрытой со всех сторон бухте. Их защищали от сильных порывов ветра построенные в каре дома, таможня, приюты.

Здесь же, на набережной, они находились в открытом месте. В нескольких шагах от них сверкало снежной белизной море.

Лютый ветер шарил по льду, рвал уходящие ввысь, обледенелые пароходные снасти, рвал привязанные к трапам шаланды, кружил целые облака белой колючей пыли и наполнял демоническим воем всю пристань.

Стонала и кряхтела набережная.

Стонали и кряхтели элеватор и одинокие, занесенные снегом пакгаузы; слышно было, как тут и там падал с треском подломленный столб, как с шумом мчался по рельсам белый, как привидение, вагон, прыгала бочка, осыпались горы сложенного сотнями рабочих рук антрацита.

– Ну, и ноченька, ноченька! Чтоб тебе ни дна ни покрышки, в рот бы тебе телеграфный столб с паклей! Да ну, брось! – злился и ворчал Шкентель, кутаясь в свою дырявую хламиду, сшитую из мешков, промерзшую и похожую теперь на панцирь.

Он шел, согнувшись и посиневшими пальцами хватаясь за каждый подвернувшийся предмет, дабы не быть подхваченным ветром.

Ветер сорвал у него фуражку и забросил ее далеко-далеко в море, расхлестал на груди у него хламиду и насыпал ему за дырявую сорочку снегу.

– Эх, кабы бог дал до вагонов скорее добраться! – вздыхал Шкентель и поглядывал на Витьку.

Бедный мальчик совершенно выбился из

сил.

Ноги у него одеревенели, и он весь превратился в сосульку.

– Скоро, скоро будем в вагоне, там тепло, согреемся! – стал напевать ему Шкентель.

Но не то напевал ветер.

Злой, беспощадный, он пуще кружил облака снега.

Вот он налетел, ударил раз, два и смял под собой, как былинку, Витьку.

Шкентель выругался и нагнулся.

Витя лежал на спине лицом кверху. Лицо у него было белое-белое, глаза закрыты.

Ветер разметал у него блузку и обнажил узкую грудь с тонкими ребрами, плечи и бедра. Мальчик казался голым.

– Витька! – позвал его с тоской в голосе корзинщик.

Витька чуть-чуть открыл глаза и уставился в Шкентеля.

– Что? – спросил Шкентель и припал к нему ухом.

– Я здесь останусь, мне тепло, – пролепетал Витя.

– Ну, уж это дудки! – И Шкентель сгреб его

в охапку. Он положил его свесившуюся, как у подстреленной пташки, головку к себе на плечо, сунул в хламиду его ноги, кое-как прикрыл ему грудь, стал дышать на него и зашагал вперед, заслоняя его левой рукой от не перестававшего наскакивать на них волкодавном ветра, заслоняя, как теплящуюся свечку.

Я хочу вас поближе познакомить со Шкентелем и Витькой.

Шкентель – корзинщик. Он выгружает и нагружает угольные вагоны корзиной, пьет, как и все угольщики, «мертвую», спит не раздеваясь, раз в два года моется и сливает за человека пропащего.

Шкентель сам, однако, не считает себя пропащим, ибо верит, что настанет время и жизнь его потечет по иному руслу и что это русло вынесет его «наверх», и он станет тем, кем был раньше.

А был он раньше «человеком» и жил, как живут все, – «по-человечески».

Шкентель, несмотря на свою угрюмую наружность, – человек мягкий и добрый. Это видно уже из того, как он привязался к Витьке.

Витька – истое дитя набережной.

Как он попал на набережную – неизвестно.

Он рос среди клепок, пакгаузов, рос среди кадыков и стрелков, спал по приютам, в стружках, чистил котлы, курил и жевал табак

не хуже любого Джона, пил, пил сильно, до потери сознания – его научили пить стрелки, – валандался за портовыми дамами – по-сметюшками, отменно боксировал, тащил из мешков кокосы, основательно знал все нравы и ухватки аборигенов порта и ругался так, что в груди дух спирало.

При таких талантах Витька обещал вырасти образцовым дикарем.

Шкентель пожалел его.

Это дитя с добрыми карими глазками, круглый сирота, вечно испачканный, грязный, пьяный, избитый и ни в ком не встречавший сочувствия, стал ему родным, близким. И он сделался как бы опекуном Витьки.

Он прибрал его в свои руки, стал одевать, учить, отучать его от некоторых дурных привычек и наказывать за малейшееслушание.

И Витя привязался к нему.

– Жаль мне тебя, Витька, – не раз говорил Шкентель мальчику. – Если не бросишь курить, пить да в орла-ореш с кадыками играть – погибнешь. Вот я. Мог жить в свое удовольствие, а вышел из меня дикарь.

Говорит он так, втолковывает ему, а потом

потащит его куда-нибудь в клепки, достанет букварь и начнет учить его:

– Бе-а-ба...

– Бе-а-ба! – вторит серьезно, покачиваясь всем корпусом, Витька.

– Витька, эй, Витька! – вдруг раздается сбоку чей-то писк. – Да ну, брось склады читать, идем в орла и ореш играть! – И перед учителем и учеником выныряет лукавое личико Сеньки Курносого.

– Дяденька! – вспыхивает и начинает ерзать Витька. – Дозволь, я на минуточку.

– Я тебе дам на минуточку! – сердится корзинщик. – Сиди! А ты, курносая пятница, проваливай! – замахивается он плеткой на искусителя и выпускает в присутствии ученика целый залп карантинных ругательств.

– Сам ты... – отругивается Сенька почище Шкентеля и, высунув ему язык, испаряется.

Прилетит потом Петрушка Корявый.

– Витька, – скажет он таинственно, – идем кокосы тащить.

И постоянно в таких случаях Шкентель прогонял искусителя, читал Витьке нотацию, напоминал ему шестую заповедь и грозил ку-

тузкой.

– Попадешь в кутузку, будешь клопов кормить. В праздничный день оба отправлялись на Ланжерон и удили рыбу, а потом варили уху, съедали ее и заваливались спать тут же на берегу.

В другой раз они отправлялись в город, и перед разбежавшимися глазками Витьки восставал новый мир.

Шкентель подолгу останавливался с ним у витрин, и Витька пожирал глазами игрушки, торты, картины и книги.

– Вот, – считал долгом Шкентель каждый раз и у каждой витрины напомнить Витьке, – если хочешь быть человеком, сладко есть, пить, хорошо одеваться и иметь все эти картинки и книжки, не сходишь с кадыками, не кури и не пей водку!

Хорошо проводили они вечера, зимние и осенние. Заберутся, бывало, в дальний угол в приюте. Шкентель уложит Витьку на матрац, укроет его, сам ляжет рядом, запыхтит окурком и начнет рассказывать.

А рассказывать он был мастер. Он рассказывал много интересного, так как много бро-

дил на своем вэку и видал многое.

Он рассказывал о шахтах, где люди откалывают кирками уголь, о широких степях, где, как море, волнуется рожь, о высоких горах, и Витька слушал, таращил глазенки и под конец засыпал.

Да, дорог, очень дорог был Шкентелю Витька.

И насколько дорог, он лишь теперь, в эту ночь, почувствовал.

Зная, что Витька в опасности, он не переставал дышать на него, кутать и оберегать его от ветра, поворачиваясь то спиной, то боком.

Сделав два-три десятка шагов, Шкентель остановился, поправил свесившуюся через плечо головку Вити и прижался к эстакаде для того, чтобы отдохнуть и дать ветру улечься.

Вдруг в двух шагах от них сверкнул огонек и, как из земли, вырос атлетического сложения негр.

Негр, несмотря на мороз, был в легком клетчатом пиджаке, в таких же брюках, в котелке и дымил пенковой трубкой.

– Стой, Джон, мистер! – обрадовался Шкентель и загородил ему дорогу. – Дай табаку, гив ми смок!

– All right! – рявкнул негр, порылся в кармане и, достав плитку жевательного табаку,

сунул ее корзинщику.

– Это мало, мистер каптейн! Видишь, нас двое. Я и Витька. Дай еще, сольмор гив смок!

Негр оскалил свои белые зубы.

Чин «каптейна» – капитана, навязанный ему, простому коку, повару, видимо, польстил ему, и он дал еще одну плитку.

– Благодарю, сенкс! А нельзя ли, сто чертей вам в зубы, черная образина, признанть у вас до завтра несколько пенсов на приют? Нас, видите, из приюта выжили, чтоб им, идолам, сдохнуть, телеграфный столб им в рот с па-клей. Может быть, пенс-два дадите, мы в приют пойдём. А то спать в вагоне придется. Там дует. Пенс, мистер, гив ми!

– Но! – качнул головой негр.

– Нет?! Не надо. Плевать на вашу черную нацею. Проваливай! Спокойной ночи – гуд найт.

– Good night! – И кок, пыхтя трубкой, зашагал прочь по направлению к тавернам.

IV

Шкентель отдохнул, пожевал табак, отчего по телу у него разлилась приятная теплота, сунул уголок плитки в рот дремлющему Витьке и зашагал вперед бодрее.

– Вот и вагоны! – вырвалось у него с облегчением.

Счетом восемь, они развернулись хвостом в десяти шагах от моря. Крыши и бока у них сверкали от массы насевшего льду и снега.

Шкентель выбрал один – средний.

Этот вагон, хотя и был наполовину набит снегом и с открытыми по обеим сторонам дверцами, отчего ветер гулял внутри свободно, тем не менее Шкентелю он показался лучшим.

Здесь Шкентель нашел солому и две циновки.

Выбрав из вагона снег, Шкентель устроил из соломы и циновок в углу постель и уложил Витьку.

Тут Шкентель спохватился. Через открытые дверцы вагона ветер наносил снег. Снег таял и ручейками стекал под подстилку Вити.

И Витя, ощущая под собой влагу, ерзал, дрожал и барабанил зубами.

– Холодно? – спросил корзинщик.

– Холодно! – процедил мальчик.

Тогда корзинщик в отчаянии сорвал с себя хламиду и укрыл ею Витьку.

Но что оставалось делать дальше?

Ветер продолжал наносить снег.

Злой, он, видно, решил доконать их. Он не покидал их и в вагоне.

Шкентель осатанел.

– Постой, уж я тебя выживу! – закрипел он зубами.

Надо было закрыть дверцы, и Шкентель принялся за работу. Ухватившись обеими руками за дверцы, он стал их сильно дергать. Но они не поддавались. Они крепко примерзли.

Тогда Шкентель отыскал гвоздь и стал им оббивать лед.

Тяжело приходилось Шкентелю.

Ветер, как бы догадываясь об его замысле, дул резче. Несколько раз он вырывал гвоздь из его посиневших пальцев, залеплял ему снегом глаза и опрокидывал его навзничь.

Слезы выступили на глазах у корзинщика. Нет, не осилить было ему ветра. И он сдался. Промерзший, с перекошенным от мороза лицом и весь синий-синий, Шкентель вернулся к Вите.

Он подсел к нему на корточки и стал растирать снегом его белые и точно окаменевшие ноги.

Витя, казалось, не чувствовал, как растирает его Шкентель. Он не шевелился.

– Витя, дружок, товарищ! – задергал его корзинщик.

Мальчик вяло и на минуту открыл глаза и тотчас же закрыл их.

Шкентель не знал, что делать.

– Витя, – стал он его опять дергать, – слушай, я тебе расскажу сказку.

И он стал рассказывать глухо, с трудом выдавливая каждое слово:

– «Жил да был не в нашем царстве, не в нашем государстве...»

Но Шкентель тотчас же осекся, так как заметил, что Витя не слушает его.

В душу его стало закрадываться тяжелое предчувствие.

– Витя, – задергал он сильнее, – открой глаза, вставай!

Ответа не последовало.

– Вставай, – зашептал уже с отчаянием в голосе Шкентель, – милый мой, дружок, шарик! Да ну, брось, чего бабишься? Скоро лето. Лед растает. Порт откроется. Закружатся опять чайки. Ну и заживем же мы с тобой, уйдем отсюда. В Киев уйдем... А табаку хочешь?! – И он стал совать ему, за неимением чего другого, табак.

Но Витя ничего не хотел.

Он в последний раз открыл стеклянные глаза и равнодушно остановил их на корзинщике.

«Ничего мне теперь не нужно», – говорили эти глаза.

А Шкентель не подозревал истины, страшной истины и продолжал развивать свои планы.

– Схожу я с тобой, Витька, в Киев. И непременно сходим пешком. Пешком лучше. Будем спать в поле и слушать жаворонков. В Киеве у меня – баба. Славная она, хотя и бросила меня и живет с другим. Она торгует фруктами.

Родной матерью тебе будет. Приголубит она тебя. Оденет, причешет и посылать в школу будет... Витя, чего же ты не отвечаешь?... А... так вот что, – схватился он за голову и с громким воплем припал к трупу, – умер, умер!!.

Шкентель пролежал с минуту над трупом, потом вскочил и, высунувшись наполовину из вагона, крикнул не своим голосом в упор ветру:

– Сюда, стра-аж-ник!

Примечания

Вагон, в котором перевозят сахар. (*Прим. автора.*)

[^^^]

2

Чайная попечительства о народной трезвости в Одесском порту. *(Прим. автора.)*

[^^^]